

ПАШКА-КАРАВЕЛЛА

рассказ старого танкиста

Был он на три года старше меня, до войны мы с ним в одном дворе жили. И двор наш был маленький – всего три двухэтажных дома стояли полукругом, а в центре палисадник. И все жильцы – с нашего металлургического комбината. Пашкин отец, как говорили, был неплохим токарем. Да что там – одним из лучших! Мы все сильно завидовали Пашке, когда отец принёс ему с завода выточенный из стали небольшой танк. Игрушка была – точная копия настоящего танка, с вращающимися башенками и подымающимися пушками. А мой отец был инженер, помощник начальника цеха. Я бы с Пашкой никогда и не подружился, наверно, да наши загородные дачи были рядом. С лета, как начинались каникулы, родители отвозили нас туда на автобусе, там я с Пашкой и сошёлся. Участки наши соседствовали на горе, на самом краю посёлка, а вся его территория была обнесена высоченным сплошным забором – толстые доски метра три высотой. А может, мне казалось, что забор был такой огромный, я тогда едва в первый класс собирался. В детстве все преграды кажутся высокими. Рядом с забором по нашу сторону три большие берёзы росли. Мы с Пашкой наловчились на них забираться, чтобы увидеть – что там дальше за этой стеной. Оказалось, сверху был вид на крупнейшее ржаное поле, которое начиналось сразу же за забором. Куда хватало глаз – кругом поля, поля, редкие рощицы, как зелёные островки посреди жёлтого моря, и снова поля, полукруглыми золотистыми караваями до самого горизонта. Так мы узнали, какой большой мир скрывался по ту сторону забора.

Однажды мы не выдержали и спрыгнули с берёзы через забор – туда, прямо в колосющееся поле. Пашка смелей меня был, потому что старше на целых три года. Он книжки разные читал, и вообще его все очень умным называли. Как начнёт про пиратов рассказывать, про путешественников разных, мореплавателей, про острова да моря разные – заслушаешься. И играть с ним во дворе было интересно, то он придумывал, что мы – отважные путешественники, которые исследуют острова со скалами, на которые надо карабкаться. То мы продирались сквозь джунгли, чтобы разорить пиратскую бухту и украсть у разбойников сокровища. Скалами нам служили окрестные сараи, а в роли джунглей был то палисадник внутри двора, то городской парк, который зеленел через дорогу от нашего дома. Однажды Пашка на занятиях в школьном кружке даже деревянный корабль смастерил, с парусами и всей командой. Поэтому и звать его стали – Пашка-Каравелла.

Вот и тогда, на самой возвышенности огромного жёлтого поля, он мне говорит: «Смотри, как рожь колыхается – будто волны под ветром. А мы – посреди океана». Жара стояла кругом, солнце сверху палило, на небе где-то совсем

высоко-высоко зависли редкие прозрачные маленькие облачка. Мы улеглись прямо среди колосьев. Птички, порхая, чирикали в высоте, где-то далеко комбайн тарыхтел. А мы всё на небо да облака смотрели. Пашка думал о чём-то, а я... мне просто жарко было. Помню только – будто мир вокруг стал казаться таким простым-простым, словно кроме нас нет вообще вокруг никого. Только небо голубое, солнце, да этот жёлтый колосющийся океан шелестит, волнуясь, словно говорит сам с собой.

Пашка прошептал: «Представляешь, вот это же самое солнце и над островами в тёплом океане сегодня светило, над пальмами и зелёными берегами. И на это же солнце Колумб смотрел, и Боливар, и Поль Джонс, как мы сейчас». Я ничего не знал ни про Боливара, ни про Поля этого Джонса. Я просто лежал спиной на колючей ржи, чувствуя твёрдые колосья через тонкую рубашку, и казалось, что времени нет, и ничего вообще на свете нет, кроме этого живого волнистого океана ржи, залитого беспощадным ярким светом, да голубого бездонного неба. Мы несколько раз потом так же с Пашкой в ту рожь с забора прыгивали, но мне этого почему-то уже не очень хотелось – как-то странно и одиноко там было, да и делать особо нечего. Потом, к осени, всё поле скосили, и стало оно голым, пустым и тихим.

А Пашка вскоре сильно изменился. Говорят, у них в семье что-то не заладилось. Мать его, добрая, живая и всегда весёлая женщина, внезапно уехала в другой город. Тётки во дворе шептали про неё что-то нехорошее, будто сбежала она к молодому любовнику – шофёру с соседнего комбината... Я тогда в этом ничего не понимал, но и до сих пор не могу поверить, что она, такая приветливая и светлая, могла запросто бросить Пашку и его отца. Некоторые наши соседи бранили за глаза Пашкиного папу. Он сильно пить стал. По воскресным утрам выходил на скамейку рядом с палисадом прямо в чёрных семейных трусах и голубой майке, вылинялой на бледной груди. Растягивал свой баян, начинал играть что-то, подпевая. Все знали – значит, опять Степаныч сегодня напётся. К обеду он уже бродил, сторбившись, по двору, заплетаясь ногами, баян его в кустах у скамейки валялся, а мужики наши кто ругался и спешил от него подальше, а иные, наоборот, пили с ним за компанию. Знали, что деньги он разбрасывал в пьяном виде щедро.

Пашка после всего этого сник как-то, почти незаметен стал, и даже похудел. Во дворе его было не видно, и про моря с океанами он нам уже не рассказывал. Говорят, слышали, как он с отцом своим сильно разговаривать пытался, да только ни к чему это не привело – куда там ребёнку взрослого переделать! Батя его так и продолжил пить, опускаясь всё ниже. Из передовиков его вышибли, от станка отлучили – какой тут токарь, если руки каждое утро трясутся? Скоро он с какими-то грузчиками с окраины да чужими мужиками с другой улицы пить стал, а потом – и совсем уж с подозрительной рваниной. Мы с Пашкой на даче больше никогда не виделись, он там уже не появлялся, и домик их пустой стоял. А скоро отдали его какой-то другой семье – с целой кучей крикливых и бледных девчонок.

Так и время летело, я подрос, и давно играл во дворе и в школе с другими ребятами, а Пашка уже к выпускному готовился. Да я с ним и не разговаривал никогда больше – он сильно вытянулся, стал почти совсем взрослый, ходил в

кружок механизаторов и, говорят, серьёзно увлекался техникой. Каравеллой его иногда ещё по старой памяти называли, но очень редко. Было в этом что-то... горькое. Сразу вспоминалось всё детское, мальчишечье. А какое уж там детство, когда семьи у парня не стало!.. Потом он весной в институт стал готовиться, а вскоре и вообще из нашего двора уехал, говорят – в общежитии при заводе поселился. Отец его к тому времени совсем грязной пьяницей стал, во дворе его уже чуть ли не били, и ругали даже старухи совсем открыто.

Скоро и я школу закончил, пошёл на завод помощником мастера. А спустя год, уже перед самой войной, нас осенью в армию призвали. Кого куда, а меня в танковое училище запихнули, на механика-водителя готовить. Я горд был этим, дуралей, не знал ещё, что это такое – живьём в раскалённом танке гореть. Учили нас строго, толково, вначале на танкетках лёгких, потом в «БТ-7» посадили. Когда война грянула, я служил на Юго-Западном в одном из новых мехкорпусов. Словами не передать, что тогда летом творилось! Танков и машин у нас было много, да что толку – метались все по полям, натыкались на немцев, стреляли, прорывались куда-то, потом сами удирали. Из танкового люка многое ли поймёшь-увидишь? Так в бестолочи боёв и маршей растерял наш корпус почти все машины. Немцев вроде и меньше было, да они сквозь нас, как железные, смело проходили, и резали, словно по живому. А мы метались. Возле Радова наконец настигли нас, вместе с пехотой, прямо посреди полей и развилочек дорог. Как-то так оказалось, что и справа немцы, и слева, и с воздуха непрерывно бьют. Горючее у нас на исходе было, танки целёхонькие прямо на дорогах бросали, у подбитых сливали из баков оставшееся, чтобы другим было на чём ехать.

И что там творилось! Вспомнить страшно. Немцы с флангов из всего, что можно, по нам стреляют, а сверху самолёты на бреющем колонну поливают. Танки, машины, броневики горят, по полю рыскают. Пехота в рожь разбегается, надеясь, что немцы их не заметят. Кругом дым, запах палёного хлеба вперемешку с гарью и копотью мазутной. Всё я там видел – как наш дивизионный комиссар стал на комдива кричать, а тот его по матери послал и в броневике заперся, чтобы там через минуту гранатой подорваться. Видел, как застрелился комполка майор Мельник, когда его последний танк немец с неба поджёл. Видел, как штабные из стрелкового 36-го корпуса по оставшимся полуторкам попрыгали и наутёк до ближайших лесов пустились, а солдаты их в поле так и остались под огнём. Да недалеко им удалось свои шкуры спасти – с неба «юнкерсы» все машины расстреляли, ни одна до леса не докатилась. Видел, как начхоз наш на грузовике, рыдая, ящики с консервами пытался разорванным брезентом затянуть – добро полковое надеялся в этой суматохе спасти. Кричали ему, дураку: «Прыгай, капитан! Прыгай, пропадёшь!». А он уж умом тронулся, всё силился ящики накрыть. На этих консервах его сверху очередью и прошили.

Многое я тогда увидел, вот только с Пашкой-Каравеллой не ожидал в этом аду встретиться. Он, оказывается, тоже в нашем корпусе служил, лейтенантом. Я бы и не столкнулся с ним, да в нашем танке тоже горючее кончилось, командир послал пошукать среди других машин – может, найдётся слить чего. Где же нам было в такой круговерти узнать, где горючее – мечутся все, орут.

Сунулись мы к какой-то БТшке на пригорке среди ржи, я по баку стучу, а рядом танкисты лежат, обгорелые. Вдруг один из них, с запекшейся кровью на лице, руку ко мне приподнял, зовёт меня по имени еле слышно... «Витька, баки пустые... Оттащи меня туда, в траву, будь другом!» И, как ни страшно кругом было, вздрогнул я от этого голоса, тронуло что-то меня тотчас прямо из детства, что-то знакомое. Вгляделся – вот же судьба! Пашка-Каравелла!.. Комбинезон на нём рваный дымится, горелым мясом несёт и кровью. Но лицо, глаза, чуб светлый из-под шлема – всё его. «Оттащи в сторону, Витя, будь другом!» – просит. Взял я его сзади за подмышки, поволок от танка и прямо в густой замес колосьев опустил. Смотрю на него, и молвить ничего не могу. Шлем я свой стянул зачем-то, как перед мёртвым. А он в небо смотрит – улыбается еле-еле. «Небо-то то же самое, Витька, что и тогда, когда мы пацанами были...» Замер взгляд его где-то там, на высоких, прозрачных в голубом облаках. И улыбка слабая на лице застыла. Я шлем его ему на глаза хотел надвинуть, но не смог, руки остановились на полпути. И сам как-то одеревенел, что ли, на коленях перед ним стоя. Кругом вой, грохот, гарь, а он лежит, и, помню, даже ветерок какой-то, словно нарочно над ним траву колыхнул – как в море волну. Тут меня наш стрелок-радист в бок сильно ударил, заглянул мне прямо в лицо, орёт: «Оглох??? Тащи канистру, чёрт тебя дери, пока не сдохли здесь!». И, подхватив бачок, выдернутый из какого-то грузовика, я так и оставил Пашку лежать в той ржи, с открытыми в небо глазами. Дальше помню уже совсем смутно, как заправились мы и вырвались-таки с этого проклятого поля с какой-то группой стрелков да остатками машин. Вышли мы из тех котлов с боями, только через неделю, совсем чудом, вместе с частями бригадного комиссара Поппеля.

Потом я почти позабыл про Пашку, потому что много ещё всего было со мной. Направили нас на формирование нового мехкорпуса и бросили в бой уже в ноябре под Москвой. Там я горел два раза, а в конце концов потерял кисть левой руки, да почти ослеп на один глаз. И голова стала временами нестерпимо болеть – контузия после снаряда, пробившего как-то зимой башню нашего танка у Ясной Поляны... Повидал я всякого-разного на фронте и в госпиталях, и, казалось бы, романтики во мне никакой ни на каплю остаться не должно. В середине сорок второго меня уже в тыл отправили – какой из меня вояка! Дома на родной уральский завод меня всё-таки взяли – две солдатские медали помогли, да ветеранское удостоверение. А вот в мужья меня никто, такого красивого, взять уже, думаю, не захочет. Но я живу. Хожу на работу, и даже записался в нашу заводскую библиотеку. В первый же день, как пришёл туда, спросил аккуратную барышню за прилавком: «Дайте мне книжку какую-нибудь про Колумба и мореплавателей разных»...

А в садах наших всё изменилось, чужие люди вокруг. Соседские бледные крикливые девчонки давно выросли, превратились в видных девиц. Младшая недавно с парнем каким-то в домике ночевала, патефон весь вечер громко крутили... А я в начале первого же послевоенного лета дожидаться не мог, когда ржаное поле за обветшалым дачным забором пожелтеет. Одною этого только хотел. Наконец как-то днём протиснулся сквозь проредь в заборе и в поле знакомое шагнул. Зашёл, волнуясь, со стуком сердечным, в самую гущу на макуш-

ке, кругом сколько хватает глаз – небо голубое и поля, поля, поля – жёлтые, зелёные, шевелятся под ветерком, живут, разговаривают сами с собою... Всё как будто то же, тогда, в детстве – и небеса голубые, высокие, и рожь под зноем колышется, и даже птицы так же чирикают, и ветерок прежний с густым баннным запахом сочных трав. И солнце – как над островами в океане, и над Колумбом когда-то, и Боливаром. И над Пашкой в том обгорелом, далёком, разорванном взрывами поле. Всё вокруг то же самое, как будто и не было ничего на свете, и тех двух мальчиков в густой ржи посреди огромного мира. Но ведь мы были?

И, став уже вдвое старше тех лет, я в моменты душевного отчаяния, когда начинают путать меня наши суетные земные дела, сомнения и люди, вдруг вспоминаю то поле, и многое мне становится проще, и на многое я готов махнуть рукой. А однажды, в конце длинной зимы, измученный необычайно холодной даже для нашего края погодой и ноющей болью старых ран, я заснул, и приснилось мне впервые, что я под тем самым ярким солнцем в том живом поле за забором, такой же маленький, как и тогда. А рядом – Пашка, улыбается и говорит мне: «Не дрейфь, Витька, весна рядом! Скоро солнце будет такое же, как над нашими островами!».

Проснулся я – а по щекам на шею слёзы бегут, щекочут...